

С. Т.
АКСАКОВ

Сочинения



Сергей Аксаков

**История моего
знакомства с Гоголем**

«Public Domain»

1852

Аксаков С. Т.

История моего знакомства с Гоголем / С. Т. Аксаков — «Public Domain», 1852

«„История моего знакомства с Гоголем“, еще вполне не оконченная мною, писана была не для печати, или по крайней мере для печати по прошествии многих десятков лет, когда уже никого из выведенных в ней лиц давно не будет на свете, когда цензура сделается свободною или вовсе упразднится, когда русское общество привыкнет к этой свободе и отложит ту щекотливость, ту подозрительную раздражительность, которая теперь более всякой цензуры мешает говорить откровенно даже о давнопрошедшем. Я печатно предлагал всем друзьям и людям, коротко знавшим Гоголя, написать вполне искренние рассказы своего знакомства с ним и таким образом оставить будущим биографам достоверные материалы для составления полной и правдивой биографии великого писателя. Это была бы, по моему мнению, истинная услуга истории русской литературы и потомству...»

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Вступление | 5 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 19 |

Сергей Тимофеевич Аксаков

История моего знакомства с Гоголем

со включением всей переписки с 1832 по 1852 год

Вступление

«История моего знакомства с Гоголем», еще вполне не оконченная мною, писана была не для печати, или по крайней мере для печати по прошествии многих десятков лет, когда уже никого из выведенных в ней лиц давно не будет на свете, когда цензура сделается свободною или вовсе упразднится, когда русское общество привыкнет к этой свободе и отложит ту щекотливость, ту подозрительную раздражительность, которая теперь более всякой цензуры мешает говорить откровенно даже о давнопрошедшем. Я печатно предлагал всем друзьям и людям, коротко знавшим Гоголя, написать вполне искренние рассказы своего знакомства с ним и таким образом оставить будущим биографам достоверные материалы для составления полной и правдивой биографии великого писателя. Это была бы, по моему мнению, истинная услуга истории русской литературы и потомству. Не знаю, принято ли кем-нибудь мое предложение, но я почти исполнил свое намерение. Очевидно, возникают вопросы: как можно печатать сочинение, писанное не для печати? Какая причина заставила меня изменить цели, с которою писана книга? Первый вопрос разрешается легко: из «Истории моего знакомства с Гоголем» исключено все, чего еще нельзя напечатать в настоящее время. Причины же, почему я так поступил, состоят в следующем: четыре года прошли, как мы лишились Гоголя; кроме биографии и напечатанных в журналах многих статей, о нем продолжают писать и печатать; ошибочные мнения о Гоголе, как о человеке, вкрадываются в сочинения всех пишущих о нем, потому что из них — даже сам биограф его — лично Гоголя не знали или не находились с ним в близких сношениях. Я думаю, что мой искренний, никаким посторонним чувством не подкрашенный рассказ может бросить истинный свет не на великого писателя (для которого, говорят, это не важно), а на человека. Мне кажется, что дружба моя к Гоголю и долг его памяти требуют от меня такого поступка. Записки мои потеряют не только большую половину своей занимательности, но и большую половину очевидности, то есть способности изъяснить предмет, о важности которого распространяться не нужно.

* * *

В 1832 году, кажется весною, когда мы жили в доме Слепцова на Сивцевом Вражке, Погодин привез ко мне, в первый раз и совершенно неожиданно, Николая Васильевича Гоголя. «Вечера на хуторе близ Диканьки» были давно уже прочтены, и мы все восхищались ими. Я прочел, впрочем, «Диканьку» нечаянно: я получил ее из книжной лавки, вместе с другими книгами, для чтения вслух моей жене, по случаю ее нездоровья. Можно себе представить нашу радость при таком сюрпризе. Не вдруг узнали мы настоящее имя сочинителя; но Погодин ездил зачем-то в Петербург, узнал там, кто такой был «Рудый Панько», познакомился с ним и привез нам известие, что «Диканьку» написал Гоголь-Яновский. Итак, это имя было уже нам известно и драгоценно.

По субботам постоянно обедали у нас и проводили вечер короткие мои приятели. В один из таких вечеров, в кабинете моем, находившемся в мезонине, играл я в карты в четверной бостон, а человека три не игравших сидели около стола. В комнате было жарко, и некоторые,

в том числе и я, сидели без фраков. Вдруг Погодин, без всякого предупреждения, вошел в комнату с неизвестным мне, очень молодым человеком, подошел прямо ко мне и сказал: «Вот вам Николай Васильевич Гоголь!» Эффект был сильный. Я очень сконфузился, бросился надевать сюртук, бормоча пустые слова пошлых рекомендаций. Во всякое другое время я не так бы встретил Гоголя. Все мои гости (тут были П. Г. Фролов, М. М. Пинский и П. С. Щепкин – прочих не помню) тоже как-то озадачились и молчали. Прием был не то что холодный, но конфузный. Игра на время прекратилась, но Гоголь и Погодин упростили меня продолжать игру, потому что заменить меня было некому. Скоро, однако, прибежал Константин, бросился к Гоголю и заговорил с ним с большим чувством и пылкостью. Я очень обрадовался и рассеянно продолжал игру, прислушиваясь одним ухом к словам Гоголя, но он говорил тихо, и я ничего не слышал.

Наружный вид Гоголя был тогда совершенно другой и невыгодный для него: хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие и крепко накрахмаленные воротнички придавали совсем другую физиономию его лицу; нам показалось, что в нем было что-то хохлацкое и плутоватое. В платье Гоголя приметна была претензия на щегольство. У меня осталось в памяти, что на нем был пестрый светлый жилет с большой цепочкой. У нас остались портреты, изображающие его в тогдашнем виде, подаренные впоследствии Константину самим Гоголем.

К сожалению, я совершенно не помню моих разговоров с Гоголем в первое наше свидание; но помню, что я часто заговаривал с ним. Через час он ушел, сказав, что побывает у меня на днях, как-нибудь пораньше утром, и попросит сводить его к Загоскину, с которым ему очень хотелось познакомиться и который жил очень близко от меня. Константин тоже не помнит своих разговоров с ним, кроме того, что Гоголь сказал про себя, что он был прежде толстяк, а теперь болен; но помнит, что он держал себя неприветливо, небрежно и как-то свысока, чего, разумеется, не было, но могло так показаться. Ему не понравились манеры Гоголя, который произвел на всех без исключения невыгодное, несимпатичное впечатление. Отдать визит Гоголю не было возможности, потому что не знали, где он остановился: Гоголь не хотел этого сказать.

Через несколько дней, в продолжение которых я уже предупредил Загоскина, что Гоголь хочет с ним познакомиться и что я приведу его к нему, явился ко мне довольно рано Николай Васильевич. Я обратился к нему с искренними похвалами его «Диканьке», но, видно, слова мои показались ему обыкновенными комплиментами, и он принял их очень сухо. Вообще в нем было что-то отталкивающее, не допускавшее меня до искреннего увлечения и излияния, к которым я способен до излишества. По его просьбе мы скоро пошли пешком к Загоскину. Дорогой он удивил меня тем, что начал жаловаться на свои болезни (я не знал тогда, что он говорил об этом Константину) и сказал даже, что болен неизлечимо. Смотря на него изумленными и недоверчивыми глазами, потому что он казался здоровым, я спросил его: «Да чем же вы больны?» Он отвечал неопределенно и сказал, что причина болезни его находится в кишках. Дорогой разговор шел о Загоскине. Гоголь хвалил его за веселость, но сказал, что он не то пишет, что следует, особенно для театра. Я легкомысленно возразил, что у нас писать не о чем, что в свете все так однообразно, гладко, прилично и пусто, что

... даже глупости смешной

В тебе не встретишь, свет пустой, —

но Гоголь посмотрел на меня как-то значительно и сказал, что «это неправда, что комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим; но что если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его». Может быть, он выразился не совсем такими словами, но мысль была

точно та. Я был ею озадачен, особенно потому, что никак не ожидал ее услышать от Гоголя. Из последующих слов я заметил, что русская комедия его сильно занимала и что у него есть свой оригинальный взгляд на нее. Надобно сказать, что Загоскин, также давно прочитавший «Диканьку» и хваливший ее, в то же время не оценил вполне, а в описаниях украинской природы находил неестественность, напыщенность, восторженность молодого писателя; он находил везде неправильность языка, даже безграмотность. Последнее очень было забавно, потому что Загоскина нельзя было обвинить в большой грамотности. Он даже оскорблялся излишними, преувеличенными, по его мнению, нашими похвалами. Но по добродушию своему и по самолюбию человеческому ему приятно было, что превозносимый всеми Гоголь поспешил к нему приехать. Он принял его с отверстыми объятьями, с криком и похвалами; несколько раз принимался целовать Гоголя, потом кинулся обнимать меня, бил кулаком в спину, называл хомяком, сусликом и пр. и пр.; одним словом, был вполне любезен по-своему. Загоскин говорил без умолку о себе: о множестве своих занятий, о бесчисленном количестве прочитанных им книг, о своих археологических трудах, о пребывании в чужих краях (он не был далее Данцига), о том, что он изъездил вдоль и поперек всю Русь и пр. и пр. Все знают, что это совершенный вздор и что ему искренно верил один Загоскин. Гоголь понял это сразу и говорил с хозяином, как будто век с ним жил, совершенно в пору и в меру. Он обратился к шкафам с книгами... Тут началась новая, а для меня уже старая история: Загоскин начал показывать и хвастаться книгами, потом табакерками и, наконец, шкатулками. Я сидел молча и забавлялся этой сценой. Но Гоголю она наскучила довольно скоро: он вдруг вынул часы и сказал, что ему пора идти, обещал еще забежать как-нибудь и ушел.

«Ну что, – спросил я Загоскина, – как понравился тебе Гоголь?» – «Ах, какой милый, – закричал Загоскин, – милый, скромный, да какой, братец, умница!...» и пр. и пр.; а Гоголь ничего не сказал, кроме самых обиходных, пошлых слов.

В этот проезд Гоголя из Полтавы в Петербург наше знакомство не сделалось близким. Не помню, через сколько времени Гоголь опять был в Москве проездом, на самое короткое время; был у нас и опять попросил меня ехать вместе с ним к Загоскину, на что я охотно согласился. Мы были у Загоскина также поутру; он по-прежнему принял Гоголя очень радушно и любезничал по-своему; а Гоголь держал себя также по-своему, то есть говорил о совершенных пустяках и ни слова о литературе, хотя хозяин заговаривал о ней не один раз. Замечательного ничего не происходило, кроме того, что Загоскин, показывая Гоголю свои раскидные кресла, так прищемил мне обе руки пружинами, что я закричал; а Загоскин оторопел и не вдруг освободил меня из моего тяжкого положения, в котором я был похож на растянутого для пытки человека. От этой потехи руки у меня долго болели. Гоголь даже не улыбнулся, но впоследствии часто вспоминал этот случай и, не смеясь сам, так мастерски его рассказывал, что заставлял всех хохотать до слез. Вообще в его шутках было очень много оригинальных приемов, выражений, складу и того особенного юмора, который составляет исключительную собственность малороссов; передать их невозможно. Впоследствии бесчисленными опытами убедился я, что повторение Гоголевых слов, от которых слушатели валялись со смеху, когда он сам их произносил, – не производило ни малейшего эффекта, когда говорил их я или кто-нибудь другой.

И в этот проезд знакомство наше с Гоголем не подвинулось вперед, но, кажется, он познакомился с Ольгой Семеновной и с Верой. В 1835 году мы жили на Сенном рынке, в доме Штюмерера. Гоголь между тем успел уже выдать «Миргород» и «Арабески». Великий талант его оказался в полной силе. Свежи, прелестны, благоуханны, художественны были рассказы в «Диканьке», но в «Старосветских помещиках», в «Тарасе Бульбе» уже являлся великий художник с глубоким и важным значением. Мы с Константином, моя семья и все люди, способные чувствовать искусство, были в полном восторге от Гоголя. Надобно сказать правду, что, кроме присяжных любителей литературы во всех слоях общества, молодые люди лучше и скорее оце-

нили Гоголя. Московские студенты все пришли от него в восхищение и первые распространили в Москве громкую молву о новом великом таланте.

В один вечер сидели мы в ложе Большого театра; вдруг растворилась дверь, вошел Гоголь и с веселым, дружеским видом, какого мы никогда не видели, протянул мне руку с словами: «Здравствуйте!» Нечего говорить, как мы были изумлены и обрадованы. Константин, едва ли не более всех понимавший значение Гоголя, забыл, где он, и громко закричал, что обратило внимание соседних лож. Это было во время антракта. Вслед за Гоголем вошел к нам в ложу Александр Павлович Ефремов, и Константин шепнул ему на ухо: «Знаешь ли кто у нас? Это Гоголь». Ефремов, выпуча глаза также от изумления и радости, побегал в кресла и сообщал эту новость покойному Станкевичу и еще кому-то из наших знакомых. В одну минуту несколько трубок и биноклей обратились на нашу ложу, и слова «Гоголь, Гоголь» разнеслись по креслам. Не знаю, заметил ли он это движение, только, сказав несколько слов, что он опять в Москве на короткое время, Гоголь уехал.

Несмотря на краткость свидания, мы все заметили, что в отношении к нам Гоголь совершенно сделался другим человеком, между тем как не было никаких причин, которые во время его отсутствия могли бы нас сблизить. Самый приход его в ложу показывал уже уверенность, что мы ему обрадуемся. Мы радовались и удивлялись такой перемене. Впоследствии, из разговоров с Погодиным, я заключил (то же думаю и теперь), что его рассказы об нас, о нашем высоком мнении о таланте Гоголя, о нашей горячей любви к его произведениям произвели это обращение. После таких разговоров с Погодиным Гоголь немедленно поехал к нам, не застал нас дома, узнал, что мы в театре, и явился в нашу ложу.

Гоголь вез с собою в Петербург комедию, всем известную теперь под именем «Женитьба»; тогда называлась она «Женихи». Он сам вызвался прочесть ее вслух в доме у Погодина для всех знакомых хозяина. Погодин воспользовался этим позволением и назвал столько гостей, что довольно большая комната была буквально набита битком. И какая досада, я захворал и не мог слышать этого чудного, единственного чтения. К тому же это случилось в субботу, в мой день, а мои гости не были приглашены на чтение к Погодину. Разумеется, Константин мой был там. Гоголь до того мастерски читал, или, лучше сказать, играл свою пьесу, что многие понимающие это дело люди до сих пор говорят, что на сцене, несмотря на хорошую игру актеров, особенно господина Садовского в роли Подколесина, эта комедия не так полна, цельна и далеко не так смешна, как в чтении самого автора. Я совершенно разделяю это мнение, потому что впоследствии хорошо узнал неподражаемое искусство Гоголя в чтении всего комического. Слушатели до того смеялись, что некоторым сделалось почти дурно; но, увы, комедия не была понята! Большая часть говорила, что пьеса неестественный фарс, но что Гоголь ужасно смешно читает.

Гоголь сожалел, что меня не было у Погодина; назначил день, в который хотел приехать к нам обедать и прочесть комедию мне и всему моему семейству. В назначенный день я пригласил к себе именно тех гостей, которым не удалось слышать комедию Гоголя. Между прочими гостями были Станкевич и Белинский. Гоголь очень опоздал к обеду, что впоследствии нередко с ним случалось. Мне было досадно, что гости мои так долго голодали, и в пять часов я велел подавать кушать; но в самое это время увидели мы Гоголя, который шел пешком через всю Сенную площадь к нашему дому. Но, увы, ожидания наши не сбылись: Гоголь сказал, что никак не может сегодня прочесть нам комедию, а потому и не принес ее с собой. Все это мне было неприятно, и, вероятно, вследствие того и в этот приезд Гоголя в Москву не последовало такого сближения между нами, какого я желал, а в последнее время и надеялся. Я виделся с ним еще один раз поутру у Погодина на самое короткое время и узнал, что Гоголь на другой день едет в Петербург.

В 1835 году дошли до нас слухи из Петербурга, что Гоголь написал комедию «Ревизор», что в этой пьесе явился талант его, как писателя драматического, в новом и глубоком значении.

Говорили, что эту пиесу никакая бы цензура не пропустила, но что государь приказал ее напечатать и дать на театре. На сцене комедия имела огромный успех, но в то же время много наделала врагов Гоголю. Самые злонамеренные толки раздавались в высшем чиновничьем кругу и даже в ушах самого государя. Ни с чем нельзя сравнить нашего нетерпения прочесть «Ревизора», который как-то долго не присылался в Москву. Я прочел его в первый раз самым оригинальным образом. Однажды, поздно заигравшись в Английском клубе, я выходил из него вместе с Великопольским. В это время швейцар подал мне записку из дому: меня уведомили, что какой-то проезжий полковник привез Ф. Н. Глинке печатный экземпляр «Ревизора» и оставил у него до шести часов утра; что Глинка прислал экземпляр нам и что все ожидают меня, чтобы слушать «Ревизора». Сгоряча я сказал об этом Великопольскому и не мог уже отказать ему в позволении услышать «Ревизора», и мы поскакали домой. Я жил тогда в Старой Басманной, в доме Куракина. Было уже около часу за полночь. Никто не спал, все сидели в ожидании меня, в моем кабинете, даже m-lle Potot, жившая у нас с матерью. Я не мог в первый раз верно прочесть «Ревизора»; но, конечно, никто никогда не читал его с таким увлечением, которое разделяли и слушатели. «Ревизор» был продан петербургской дирекции самим Гоголем за две тысячи пятьсот рублей ассигнациями, а потому немедленно начали его ставить и в Москве. Гоголь был хорошо знаком с Мих. Сем. Щепкиным и поручил ему письменно постановку «Ревизора», снабдив притом многими, по большей части очень дельными, наставлениями. В то же время узнали мы, что сам Гоголь, сильно огорченный и расстроенный чем-то в Петербурге, распродал с уступкой все оставшиеся экземпляры «Ревизора» и других своих сочинений и собирается немедленно уехать за границу. Это огорчило меня и многих его почитателей. Вдруг приходит ко мне Щепкин и говорит, что ему очень неловко ставить «Ревизора», что товарищи этим как-то обижаются, не обращают никакого внимания на его замечания и что пиеса от этого будет поставлена плохо; что гораздо было бы лучше, если бы пиеса ставилась без всякого надзора, так, сама по себе, по общему произволу актеров; что если он пожалуется репертуарному члену или директору, то дело пойдет еще хуже: ибо директор и репертуарный член ничего не смыслят и никогда такими делами не занимаются; а господа артисты назло ему, Щепкину, совсем уронят пиесу. Щепкин плакал от своего затруднительного положения и от мысли, что он так худо исполнит поручение Гоголя. Он прибавил, что единственное спасение состоит в том, чтобы я взял на себя постановку пиесы, потому что актеры меня уважают и любят и вся дирекция состоит из моих коротких приятелей; что он напишет об этом Гоголю, который с радостью передаст это поручение мне. Я согласился и ту же минуту написал сам в Петербург к Гоголю горячее письмо, объяснив, почему Щепкину неудобно ставить пиесу и почему мне это будет удобно, прибавя, что в сущности всем будет распоряжаться Щепкин, только через меня. Это было первое мое письмо к Гоголю, и его ответ был его первым письмом ко мне. Вот оно:

«Я получил приятное для меня письмо ваше. Участие ваше меня тронуло. Приятно думать, что среди многолюдной неблаговолящей толпы скрывается тесный кружок избранных, поверяющий творения наши верным внутренним чувством; и еще более приятно, когда глаза его обращаются на творца их с тою любовью, какая дышит в письме вашем.

Я не знаю, как благодарить за готовность вашу принять на себя обузу и хлопоты по моей пиесе. Я поручил ее уже Щепкину и писал об этом письмо к Загоскину. Если же ему точно нет возможности ладить самому с дирекцией и если он не отдавал еще письма, то известите меня: я в ту же минуту приготовлю новое письмо к Загоскину. Сам я никаким образом не могу приехать к вам, потому что занят приготовлениями к моему отъезду, который будет если не 30 мая, то 6 июня непременно. Но по возвращении из чужих краев я постоянный житель столицы древней.

Еще раз принося вам чувствительнейшую благодарность, остаюсь навсегда

Вашим покорнейшим слугою

Н. Гоголь.

Мая 15, 1836»

На конверте:

*Его высококородию¹ Милостивому государю Сергею Тимофеевичу Аксакову
от Гоголя.*

Как это странно, что письмо такое простое, искреннее не понравилось всем и даже мне.

Отсюда начинается долговременная и тяжелая история неполного понимания Гоголя людьми самыми ему близкими, искренно и горячо его любившими, называвшимися его друзьями! Безграничной, безусловной доверенности в свою искренность Гоголь не имел до своей смерти. Нельзя предположить, чтоб все мы были виноваты в этом без всякого основания; оно заключалось в наружности обращения и в необъяснимых странностях его духа. Это материя длинная, и, чтобы бросить на нее некоторый свет, заранее скажу только, что впоследствии я часто говаривал для успокоения Шевырева и особенно Погодина: «Господа, ну как мы можем судить Гоголя по себе? Может быть, у него все нервы вдесятеро тоньше наших и устроены как-нибудь вверх ногами!» На что Погодин со смехом отвечал: «Разве что так!»

Вследствие письма Гоголя ко мне Щепкин писал к нему, что письмо к Загоскину отдано давно, о чем он его уведомлял; но, кажется, Гоголь не получал этого письма, потому что не отвечал на него и уехал немедленно за границу.

Итак, «Ревизор» был поставлен без моего участия. Впрочем, эта пьеса игралась и теперь играет в Москве довольно хорошо, кроме Хлестакова, роль которого труднее всех. Гоголь всегда мне жаловался, что не находит актера для этой роли, что оттого пьеса теряет смысл и скорее должна называться «Городничий», чем «Ревизор».² Я тогда уже не ездил в театр, но все зрители восхищались Шумским; сам Гоголь видел его из нашей логи в продолжение двух действий и остался им доволен. В 1837 году погиб Пушкин. Из писем самого Гоголя известно, каким громовым ударом была эта потеря. Гоголь сделался болен и духом и телом. Я прибавлю, что, по моему мнению, он уже никогда не выздоравливал совершенно и что смерть Пушкина была единственной причиной всех болезненных явлений его духа, вследствие которых он задавал себе неразрешимые вопросы, на которые великий талант его, изнеможенный борьбою с направлением отшельника, не мог дать сколько-нибудь удовлетворительных ответов.

В начале 1838 года распространились по Москве слухи, что Гоголь отчаянно болен в Италии и даже посажен за долги в тюрьму. Разумеется, последнее было совершенная ложь. Во всей Москве переписывался с ним один Погодин; он получил, наконец, письмо от Гоголя, уведомлявшее об его болезни и трудных денежных обстоятельствах. Это письмо было писано из Неаполя от 20 августа. Между прочим Гоголь писал в нем: «Мне не хотелось пользоваться твоею добротою. Теперь я доведен до того. Если ты богат, пришли вексель на две тысячи. Я тебе через год, много через полтора, их возвращу». Мы решились ему помочь, но под большим секретом: я, Погодин, Баратынский и <Н. Ф.> Павлов сложились по двести пятьдесят рублей, и тысячу рублей предложил сам, по сердцу весьма добрый человек, И. Е. Великопольский, которому я только намекнул о положении Гоголя и о нашем намерении. Секрет был вполне сохранен. Погодин должен был написать к Гоголю письмо следующего содержания: «Видя, что ты находишься в нужде, на чужой стороне, я, имея свободные деньги, посылаю тебе две тысячи рублей

¹ Я был тогда титулярным советником; но Гоголь, по фигуре моей, вообразил, что я непременно должен быть статским советником.

² Незадолго до своей смерти он передал эту роль г-ну Шумскому и сам ставил пьесу.

ассигнациями. Ты отдашь их мне тогда, когда разбогатеешь, что, без сомнения, будет». Деньги были отосланы немедленно. С этими деньгами случилась странная история. Я удостоверен, что они были получены Гоголем, потому что в одном своем письме Погодин очень неделикатно напоминает об них Гоголю, тогда как он дал честное слово нам, что Гоголь никогда не узнает о нашей складчине; но вот что непостижимо: когда финансовые дела Гоголя поправились, когда он напечатал свои сочинения в четырех томах, тогда он поручил все расплаты Шевыреву и дал ему собственноручный регистр, в котором даже все мелкие долги были записаны с точностью; об этих же двух тысячах не упомянуто; этот регистр и теперь находится у Шевырева.

В 1838 году, кажется 8 июня, уехал Константин за границу, намереваясь долго прожить в чужих краях (он не мог прожить более пяти месяцев). Перед возвращением своим в Россию он написал к Гоголю в Рим самое горячее письмо, убеждая его воротиться в Москву (Гоголь жил в Риме уже более двух лет) и назначая ему место съезда в Кельне, где Константин будет ждать его, чтоб ехать в обратный путь вместе. Гоголь еще не думал возвращаться, да и письмо получил двумя месяцами позднее, потому что куда-то уезжал из Рима. Письмо это, вероятно дышавшее горячей любовью, произвело, однако, глубокое впечатление на Гоголя, и хотя он не отвечал на него, но по возвращении в Россию, через год, говорил о нем с искренним чувством.

В 1839 году Погодин ездил за границу, имея намерение привезти с собою Гоголя. Он ни слова не писал нам о свидании с Гоголем, и хотя мы сначала надеялись, что они воротятся в Москву вместе, но потом уже потеряли эту надежду. Мы жили лето на даче в Аксиньине, в десяти верстах от Москвы. 29 сентября вдруг получаю я следующую записку от Михаила Семеновича Щепкина:

«Почтеннейший Сергей Тимофеевич, спешу уведомить вас, что М. П. Погодин приехал, и не один; ожидания наши исполнились: с ним приехал Н. В. Гоголь. Последний просил никому не сказывать, что он здесь; он очень похорошел, хотя сомнение о здоровье у него беспрестанно проглядывает. Я до того обрадовался его приезду, что совершенно обезумел, даже до того, что едва ли не сухо его встретил; вчера просидел целый вечер у них и, кажется, путного слова не сказал: такое волнение его приезд во мне произвел, что я нынешнюю ночь почти не спал. Не утерпел, чтобы не известить вас о таком для нас сюрпризе: ибо, помнится, мы совсем уже его не ожидали. Прощайте, сегодня, к несчастью, играю и потому не увижу его.

Ваш покорнейший слуга

Михайло Щепкин

от 28-го сентября 1839 года».

Я помещаю эту записку для того, чтоб показать, что значил приезд Гоголя в Москву для его почитателей. Мы все обрадовались чрезвычайно. Константин, прочитавши записку прежде всех, поднял от радости такой крик, что всех перепугал, а с Машенькой сделалось даже дурно. Он уехал в Москву в тот же день, а я с семейством переехал 1 октября. Константин уже виделся с Гоголем, который остановился у Погодина в его собственном доме на Девичьем поле. Гоголь встретился с Константином весело и ласково; говорил о письме, которое, очевидно, было для него приятно, и объяснял, почему он не мог приехать в назначенное Константином место, то есть в Кельн. Причина состояла в том, что он уезжал на то время из Рима, а воротясь, целый месяц не получал писем из России, хотя часто осведомлялся на почте; наконец, он решился пересмотреть сам все лежащие там письма и между ними нашел несколько адресованных к нему; в том числе находилось и письмо Константина. Бестолковый почтовый чиновник принимал Гоголя за кого-то другого и потому не отдавал до сих пор ему писем.

Разговаривая очень приятно, Константин сделал Гоголю вопрос самый естественный, но, конечно, слишком часто повторяемый всеми при встрече с писателем: «Что вы нам привезли,

Николай Васильевич?» – и Гоголь вдруг очень сухо и с неудовольствием отвечал: «Ничего». Подобные вопросы были всегда ему очень неприятны; он особенно любил содержать в секрете то, чем занимался, и терпеть не мог, если хотели его нарушить.

На другой день моего переезда в Москву, 2 октября, Гоголь приехал к нам обедать вместе с Щепкиным, когда мы уже сидели за столом, совсем его не ожидая. С искренними, радостными восклицаниями встретили его все, и он сам казался воротившимся к близким и давнишним друзьям, а не просто к знакомым, которые виделись несколько раз и то на короткое время. Я был восхищен до глубины сердца и в то же время удивлен. Казалось, как бы могло пятилетнее отсутствие, без письменных сношений, так сблизить нас с Гоголем? По чувствам нашим мы, конечно, имели полное право на его дружбу, и, без сомнения, Погодин, знавший нас очень коротко, передал ему подробно обо всем, и Гоголь почувствовал, что мы точно его настоящие друзья.

Наружность Гоголя так переменилась, что его можно было не узнать: следов не было прежнего, гладко выбритого и обстриженного (кроме хохла) франтика в модном фраке! Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое значение; особенно в глазах, когда он говорил, выражались доброта, веселость и любовь ко всем; когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то высокому. Сюртук вроде пальто заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности. Самая фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее. Шутки Гоголя, которых передать нет никакой возможности, были так оригинальны и забавны, что неудержимый смех одолевал всех, кто его слушал, сам же он всегда шутил не улыбаясь.

С этого собственно времени началась наша тесная дружба, вдруг развившаяся между нами. Гоголь бывал у нас почти каждый день и очень часто обедал. Зная, как он не любит, чтоб говорили с ним об его сочинениях, мы никогда об них не поминали, хотя слух о «Мертвых душах» обежал уже всю Россию и возбудил общее внимание и любопытство. Не помню, кто-то писал из чужих краев, что, выслушав перед отъездом из Рима первую главу «Мертвых душ», он хохотал до самого Парижа. Другие были не так деликатны, как мы, и приступали к Гоголю с вопросами, но получали самые неудовлетворительные и даже неприятные ответы.

Гоголь сказал нам, что ему надобно скоро ехать в Петербург, чтоб взять сестер своих из Патриотического института, где они воспитывались на казенном содержании. Мать Гоголя должна была весною приехать за дочерьми в Москву. Я сам вместе с Верой собирался ехать в Петербург, чтоб отвезть моего Мишу в Пажеский корпус, где он был давно кандидатом. Я сейчас предложил Гоголю ехать вместе, и он очень был тому рад.

Не зная хорошенько времени, когда должен был последовать выпуск воспитанниц из Патриотического института, Гоголь сначала торопился отъездом. Это видно из записки Погодина ко мне, в которой он пишет, что Гоголь просит меня справиться об этом выпуске; но торопиться было не к чему: выпуск последовал в декабре. Во всяком случае замедление отъезда происходило от нас. Я писал Гоголю 20 октября, что, «желая непременно ехать вместе с вами, любезнейший Николай Васильевич, я обращаюсь к вам с вопросом, можете ли вы отложить свой отъезд до вторника? Если не можете, мы едем в воскресенье поутру». На той же записке Гоголь отвечал:

«Коли вам это непременно хочется и нужно и я могу сделать вам этим удовольствие, то готов отложить отъезд свой до вторника охотно».

Но и во вторник отъезд был отложен, и мы выехали в четверг после обеда 26 октября (1839 г.). Я взял особый дилижанс, разделенный на два купе: в переднем сидел Миша и Гоголь, а в заднем – я с Верой. Оба купе сообщались двумя небольшими окнами, в которых деревян-

ные рамки можно было поднимать и опускать: с нашей стороны в рамках были вставлены два зеркала. Это путешествие было для меня и для детей моих так приятно, так весело, что я и теперь вспоминаю о нем с удовольствием. Гоголь был так любезен, так постоянно шутилив, что мы помирали со смеху. Все эти шутки обыкновенно происходили на станциях или при разговорах с кондуктором и ямщиками. Самый обыкновенный вопрос или какое-нибудь требование Гоголь умел так сказать забавно, что мы сейчас начинали хохотать; иногда даже было нам совестно перед Гоголем, особенно когда мы бывали окружены толпою слушателей. В продолжение дороги, которая тянулась более четырех суток, Гоголь говорил иногда с увлечением о жизни в Италии, о живописи (которую очень любил и к которой имел решительный талант), об искусстве вообще, о комедии в особенности, о своем «Ревизоре», очень сожалел о том, что главная роль, Хлестакова, играет дурно в Петербурге и Москве, отчего пьеса теряет весь смысл (хотя в Москве он не видал «Ревизора» на сцене). Он предлагал мне, воротясь из Петербурга, разыграть «Ревизора» на домашнем театре; сам хотел взять роль Хлестакова, мне предлагал Городничего, Томашевскому (с которым я успел его познакомиться), служившему цензором в почтамте, назначал роль почтмейстера, и так далее. Много высказывал Гоголь таких ясных и верных взглядов на искусство, таких тонких пониманий художества, что я был очарован им. Большую же часть во время езды, закутавшись в шинель, подняв ее воротник выше головы, он читал какую-то книгу, которую прятал под себя или клал в мешок, который всегда выносил с собою на станциях. В этом огромном мешке находились принадлежности туалета: какое-то масло, которым он мазал свои волосы, усы и эспаньолку, несколько головных щеток, из которых одна была очень большая и кривая: ею Гоголь расчесывал свои длинные волосы. Тут же были ножницы, щипчики и щеточки для ногтей и, наконец, несколько книг. Сосед Гоголя, четырнадцатилетний наш Миша, живой и веселый, всегда показывал нам знаками, что делает Гоголь, читает или дремлет. Миша подсмотрел даже, какую книгу он читал: это был Шекспир на французском языке.

Гоголь чувствовал всегда, особенно в сидячем положении, необыкновенную зябкость; без сомнения, это было признаком болезненного состояния нерв, которые не пришли еще в свое нормальное положение после смерти Пушкина. Гоголь мог согреть ноги только ходьбою и для того в дорогу он надел сверх сапогов длинные и толстые русские шерстяные чулки и сверх всего этого теплые медвежьи сапоги. Несмотря на то, он на каждой станции бегал по комнатам и даже улицам во все время, пока перекладывали лошадей, или просто ставил ноги в печку. Гоголь был тогда еще немножко гастроном; он взял на себя распоряжение нашим кофеем, чаем, завтраком и обедом. Ехали мы чрезвычайно медленно, потому что лошади, возившие дилижансы, едва таскали ноги, и Гоголь рассчитал, что на другой день, часов в пять пополудни, мы должны приехать в Торжок, следственно должны там обедать и полакомиться знаменитыми котлетами Пожарского, и ради таковых причин дал нам только позавтракать, обедать же не дал. Мы весело повиновались такому распоряжению. Вместо пяти часов вечера мы приехали в Торжок в три часа утра. Гоголь шутил так забавно над будущим нашим утренним обедом, что мы с громким смехом взошли на лестницу известной гостиницы, а Гоголь сейчас заказал нам дюжину котлет с тем, чтоб других блюд не спрашивать. Через полчаса были готовы котлеты, и одна их наружность и запах возбудили сильный аппетит в проголодавшихся путешественниках. Котлеты были точно необыкновенно вкусны, но вдруг (кажется, первая Вера) мы все перестали жевать, а начали вытаскивать из своих ртов довольно длинные белокурые волосы. Картина была очень забавная, а шутки Гоголя придали столько комического этому приключению, что несколько минут мы только хохотали, как безумные. Успокоившись, принялись мы рассматривать свои котлеты, и что же оказалось? В каждой из них мы нашли по несколько десятков таких же длинных белокурых волос! Как они туда попали, я и теперь не понимаю. Предположения Гоголя были одно другого смешнее. Между прочим, он говорил с своим неподражаемым мало-российским юмором, что, верно, повар был пьян и не выспался, что его разбудили и что он с

досады рвал на себе волосы, когда готовил котлеты; а может быть, он и не пьян и очень добрый человек, а был болен недавно лихорадкой, отчего у него лезли волосы, которые и падали на кушанье, когда он приготавливал его, потряхивая своими белокурыми кудрями. Мы послали для объяснения за половым, а Гоголь предупредил нас, какой ответ мы получим от полового: «Волосы-с? Какие же тут волосы-с? Откуда прийти волосам-с? Это так-с, ничего-с! Куриные перушки или пух, и проч. и проч.». В самую эту минуту вошел половой и на предложенный нами вопрос отвечал точно то же, что говорил Гоголь, многое даже теми же самыми словами. Хохот до того овладел нами, что половой и наш человек посмотрели на нас, выпуча глаза от удивления, и я боялся, чтобы Вере не сделалось дурно. Наконец, припадок смеха прошел. Вера попросила себе разогреть бульону, а мы трое, вытаскав предварительно все волосы, принялись мужественно за котлеты.

Так же весело продолжалась вся дорога. Не помню, где-то предлагали нам купить пряников. Гоголь, взявши один из них, начал с самым простодушным видом и серьезным голосом уверять продавца, что это не пряники; что он ошибся и захватил как-нибудь куски мыла вместо пряников, что и по белому их цвету это видно, да и пахнут они мылом, что пусть он сам отведаст и что мыло стоит гораздо дороже, чем пряники. Продавец сначала очень серьезно и убедительно доказывал, что это точно пряники, а не мыло, и, наконец, рассердился. В моем рассказе ничего нет смешного, но, слушая Гоголя, не было возможности не смеяться.

Помню я также завтрак на станции в Померани, которая издавна славилась своим кофеем и вафлями и еще более была замечательна, тогда уже старым, своим слугою, двадцать лет ходившим, по-видимому, в одном и том же фраке, в одних и тех же чулках и башмаках с пряжками. Это был лакей высшего разряда, с самой представительной наружностью и приличными манерами. Его знала вся Россия, ездившая в Петербург. В какое бы время дня и ночи ни приехали порядочно одетые путешественники, особенно дамы, лакей-джентльмен являлся немедленно в полном своем костюме. Меня уверяли, что он всегда спал в нем, сидя на стуле. С этим-то интересным для Гоголя человеком умел он разговаривать так мастерски, впадая в его тон, что всегда хладнокровно-учтивый старик, оставляя вечно носимую маску, являлся другим лицом, так сказать с внутренними своими чертами. В этом разговоре было что-то умирительно-забавное и для меня даже трогательное.

Тридцатого октября в восемь часов вечера приехали мы в Петербург. Не доезжая до Владимирской, где был дом Карташевских, Гоголь вышел из дилижанса, захватил свой мешок и простился с нами. Он не знал, где остановится: у Плетнева или у Жуковского. Он обещал немедленно прислать за своими вещами и чемоданом и уведомить нас о своей квартире; хотел также скоро побывать и сам. Но обещания Гоголя в этом роде были весьма неверны; в тот же самый вечер, но так поздно, что все уже легли спать, Гоголь приезжал сам, взял свой мешок и еще кое-что и сказал человеку, что пришлет за остальными вещами; но где живет, не сказал. На другой день я поехал его отыскивать, но не успел отыскать. По множеству моих разъездов я не успел побывать у Плетнева, а у Жуковского Гоголя не оказалось. Наконец, 3 ноября, я был у Гоголя. Он только что переехал к Жуковскому и обещал на другой день, то есть 4-го, приехать обедать к нам. Он очень мне обрадовался, но казался чем-то смущенным и уже не походил на прежнего, *дорожного* Гоголя. Он развеселился несколько, говоря, что возьмет своих сестер и опять вместе с нами поедет в Москву; хотел немедленно, как только можно будет переехать через Неву, повезти нас в Патриотический институт, чтоб познакомить с своими сестрами. Он не остался у нас обедать, потому что за ним прислал Жуковский. Я познакомил его с моими хозяевами. Гоголь всем не очень понравился, даже Машеньке. Вообще должно сказать, что, кроме Машеньки, никто не понимал и не ценил Гоголя как писателя. Гр. Ив. Карташевский даже и не читал его; но я надеялся, что он может и должен вполне оценить Гоголя, потому что в молодости, когда он был еще моим воспитателем, он страстно любил «Дон Кихота», обо-

жал Шекспира и Гомера и первый развил в моей душе любовь к искусству. Ожидания мои не оправдались, что увидим впоследствии.

Пятого ноября, я еще не сходил сверху, потому что до половины второго просидел у меня Кавелин, только что успели прибежать ко мне Вера и Машенька, чтоб послушать «Арабески» Гоголя, которые я накануне купил для Машеньки, как вбежал сам Гоголь, до того замерзший, что даже жалко и смешно было смотреть на него (в то время стояла в Петербурге страшная стужа, до двадцати трех градусов при сильном ветре); но потом, посогревшись, был очень весел и забавен с обеими девицами. Сидел очень долго и просидел бы еще дольше, но пришел Ив. Ив. Панаев: это напомнило Гоголю, что ему пора идти. Несмотря на то, что Гоголь казался всем очень веселым, внутренне он был чрезвычайно расстроен. 5-го же ноября он был у меня опять и открыл мне свое затруднительное положение. Он был обнадежен Жуковским, что сестры его получают вспоможение при выходе из института от щедрот государыни; но теперь никто не берется доложить ей о том, ибо по случаю нездоровья она не занимается делами и беспокоить ее докладами считают неприличным. Гоголь сказал, что насчет его уже начались сплетни и что он горит нетерпением поскорее отсюда уехать. Очень просил, чтоб я с Верой и с ним съездил к его сестрам, и поручил мне в каждом письме писать к моей жене и Константину по пяти поклонов. Я был взволнован его положением и предложил ему все, что тогда у меня было, разумеется безделицу; он сказал что-то весьма растроганным голосом и убежал. В тот же день я описал все подробно Ольге Семеновне, заметив, что, вероятно, Гоголю надобно много денег, что все это, как я надеюсь, поправится, а в противном случае – я поправлю.

Во всем круге моих старых товарищей и друзей, во всем круге моих знакомых я не встретил ни одного человека, кому бы нравился Гоголь и кто бы ценил его вполне. Даже никого, кто бы всего его прочел! О, Петербург, о, пошло деловой, всегда равно отвратительный Петербург! Вот, например, Владимир Иванович Панаев, тоже старый мой товарищ, литератор и член Российской академии, с которым, разумеется, я никогда о Гоголе не рассуждал, вдруг спрашивает меня при многих свидетелях: «А что Гоголь? Опять написал что-нибудь смешное и неестественное?» Не помню, что я отвечал ему; но, вероятно, присутствие других спасло его от такого ответа, от которого не поздоровилось бы ему.

В продолжение нескольких дней Гоголь еще надеялся на какие-то благоприятные обстоятельства; мы виделись с ним несколько раз, но на короткое время. Всякий раз условливались, когда ехать к его сестрам, и всякий раз что-нибудь мешало.

Наконец, 13 ноября обедал у нас Гоголь. Григорий Иванович, который успел прочесть кое-что из него и всю ночь хохотал от «Вия»... увы, также не мог вполне понять художественное достоинство Гоголя; он почувствовал только один комизм его. Это не помешало ему быть вполне любезным по-своему с своим земляком. Гоголь за обедом вдруг спросил меня потихоньку: «Откуда этот превосходный портрет?» – и указал на портрет Кирилловны, написанный Машенькой Карташевской. Я, разумеется, сейчас объяснил дело, и Машенька, которой по нездоровью не было за столом, также и Веры, была сердечно утешена отзывом Гоголя. После обеда он смотрел портрет Веры, начатый Машенькой, и портрет нашей Марихен, сделанный Верой, и чрезвычайно хвалил, особенно портрет Марихен, и в заключение сказал, что им нужно коротко познакомиться с Вандиком, чтоб усовершенствоваться. Оба друга были в восхищении. Я объяснил ему, какое прекрасное существо Машенька Карташевская. После обеда Гоголь долго говорил с Григорием Ивановичем об искусстве вообще: о музыке, живописи, о театре и характере малороссийской поэзии; говорил удивительно хорошо! Все было так ново, свежо и истинно! И какой же вышел результат? Григорий Иванович, этот умный, высоконравственный, просвещенный и доступный пониманию некоторых сторон искусства человек, сказал нам с Верой: что малороссийский народ пустой, что и Гоголь сам точно такой же хохол, каких он представляет в своих повестях, что ему мало одного, что он хочет быть и музыкантом и живописцем, и начал бранить его за то, что он предался Италии. Это меня сердечно огор-

чило, и Вера печально сказала мне: «Что после этого и говорить, если Григорий Иванович не может понять, какое глубокое и великое значение имеет для Гоголя вообще искусство, в каких бы оно формах ни проявлялось!»

Тринадцатого ноября этого года осталось для меня незабвенным днем на всю мою жизнь. После обеда, часов в семь, мы ушли с Гоголем наверх, чтоб поговорить наедине. Когда я позвал Гоголя, обнял его одной рукою и повел таким образом наверх, то на лице его изобразилось такое волнение и смущение... Нет, оба эти слова не выражают того, что выражалось на его лице! Я почувствовал, что Гоголь, предвидя, о чем я буду говорить с ним, терзался внутренне, что ему это было больно, неприятно, унижительно. Мне вдруг сделалось так совестно, так стыдно, что я привожу в неприятное смущение, даже какую-то робость этого гениального человека, – и я на минуту поколебался: говорить ли мне с ним об его положении? Но, взойдя наверх, Гоголь преодолел себя и начал говорить сам.

Его обстоятельства были следующие: Жуковский уверил его через письмо еще в Москве, что императрица пожалует его сестрам при выходе из института по крайней мере по тысяче рублей (что, впрочем, я уже отчасти знал). С этой верной надеждой он приехал в Петербург, но она не сбылась по нездоровью государыни, и неизвестно, когда сбудется. К довершению сего Гоголь потерял свой бумажник с деньгами да еще записками, для него очень важными. Об этом было опубликовано в полицейской газете, но, разумеется, бумажник не нашелся именно потому, что в нем были деньги. Кроме того, что ему надобно было одеть сестер и довести до Москвы, он должен заплатить за какие-то уроки... Что делать? К кому обратиться? Все кругом холодно, как лед, а денег ни гроша! У людей близких, то есть у Жуковского и Плетнева, он почему-то денег просить не мог (вероятно, он им был должен). Просить у других, не имея на то никакого права, считал он унижительным, бесчестным и даже бесполезным. Хотя я живо помню, но пересказать не умею, как вскипела моя душа. Прерывающимся от внутреннего чувства, но в то же время твердым голосом я сказал ему, что я могу без малейшего стеснения, совершенно свободно располагать двумя тысячами рублей; что ему будет грех, если он хотя на одну минуту усумнится; что не он будет должен мне, а я ему; что помочь ему в затруднительном положении я считаю самую счастливою минутой моей жизни; что я имею право на это счастье по моей дружбе к нему; имею право даже на то, чтобы он взял эту помощь без малейшего смущения и не только без неприятного чувства, но с удовольствием, которое чувствует человек, доставляя удовольствие другому человеку. – Видно, в словах моих и на лице моем выражалось столько чувства правды, что лицо Гоголя не только прояснилось, но сделалось лучезарным. Вместо ответа он благодарил бога за эту минуту, за встречу на земле со мной и моим семейством, протянул мне обе свои руки, крепко сжал мои и посмотрел на меня такими глазами, какими смотрел за несколько месяцев до своей смерти, уезжая из нашего Абрамцева в Москву и прощаясь со мной ненадолго. Я верю, что в нем это было предчувствие вечной разлуки... Гоголь не скрыл от меня, что знал наперед, как поступлю я; но что в то же время знал через Погодина и Шевырева о моем нередко затруднительном положении, знал, что я иногда сам нуждаюсь в деньгах и что мысль быть причиною какого-нибудь лишения целого огромного семейства его терзала, и потому-то было так ему тяжело признаваться мне в своей бедности, в своей крайности; что, успокоив его на мой счет, я свалил камень, его давивший, что ему теперь легко и свободно. Он с любовью и радостью начал говорить о том, что у него уже готово в мыслях и что он сделает по возвращении в Москву; что, кроме труда, завещанного ему Пушкиным, совершение которого он считает задачею своей жизни, то есть «Мертвые души», у него составлена в голове трагедия из истории Запорожья, в которой все готово, до последней нитки, даже в одежде действующих лиц; что это его давнишнее, любимое дитя, что он считает, что эта пьеса будет лучшим его произведением и что ему будет с лишком достаточно двух месяцев, чтобы переписать ее на бумагу. Он говорил о моем семействе, которое вполне понимал и ценил; особенно о моем Константине, которого нетерпеливо желал перенести из отвлеченного мира

мысли в мир искусства, куда, несмотря на философское направление, влекло его призвание. Сердца наши были переполнены чувством; я видел, что каждому из нас нужно было остаться наедине. Я обнял Гоголя, сказал ему, что мне необходимо надобно ехать, и просил, чтобы завтра, после обеда, он зашел ко мне или назначил мне час, когда я могу приехать к нему с деньгами, которые спрятаны у моей сестры; что никто, кроме Константина и моей жены, знать об этом не должен. Гоголь, спокойный и веселый, ушел от меня. Я, конечно, был вполне счастлив; но денег у меня не было. Надобно было их достать, что не составляло трудности, и я сейчас написал записку – и попросил на две недели две тысячи рублей³ – к известному богачу, очень замечательному человеку по своему уму и душевным свойствам, разумеется весьма односторонним, – откупщику Бенардаки, с которым был хорошо знаком. Он отвечал мне, что завтра поутру придет сам для исполнения моего «приказания». Эта любезность была исполнена в точности. В тот же вечер я не вытерпел и нарушил обещание, добровольно данное Гоголю; я не мог скрыть моего восторженного состояния от Веры и друга ее Машеньки Карташевской, которую любил, как дочь (впрочем, они были единственным исключением). Обе мои девицы пришли в восхищение. 14 ноября Гоголь ко мне не приходил. 15-го я писал ему записку и звал за *нужным*. Гоголь не приходил. 16-го я поехал к нему сам, но не застал его дома. Зная от Бенардаки, который 14-го числа сам привез мне поутру две тысячи рублей, что именно 16-го Гоголь обещал у него обедать, я написал записку к Гоголю и велел человеку дожидаться его у Бенардаки; но Гоголь обманул и не приходил обедать. На меня напало беспокойство и сомнение, что Гоголь раздумал взять у меня деньги. Замечательно, что этот грек Бенардаки, очень умный, но без образования, был единственным человеком в Петербурге, который назвал Гоголя гениальным писателем и знакомство с ним ставил себе за большую честь!

В этот же день, 16 ноября, обедали у Карташевских два тайных советника: весьма известный и любимый прежде литератор Хмельницкий и другой, тоже литератор, мало известный, но не без дарования, Марков. Несколько раз разговор обращался на Гоголя. Боже мой, что они говорили, как они понимали его – этому трудно поверить! Я тогда же написал об них в письме к моей жене, что это были калибаны в понимании искусства, и это совершенная правда. Зная свою горячность, резкость и неумеренность в своих выражениях, я молил только бога, чтоб он дал мне терпение и положил хранение устам моим. Я ходил по зале с Верой и Машенькой, где, однако, были слышны все разговоры, и удивлялся вместе с ними крайнему тупоумию и невежеству высшей петербургской публики как служебной, так и литературной. Брату Николаю Тимофеевичу было даже совестно за старинного его приятеля Хмельницкого, а Григорию Ивановичу – за Маркова. Наконец, терпение мое лопнуло; я подошел к ним и с убийственным выражением сказал: «Ваши превосходительства, сядемте-ка лучше в карты!»

Только что мы кончили игру, в которую я с злобным удовольствием обыграл всех трех тайных советников, как пришел ко мне Гоголь. Я выбежал к нему навстречу и увел его наверх. Слава богу, все исполнилось по моему желанию! Гоголь взял деньги и был спокоен, даже весел. Он не приходил ко мне потому, что переезжал от Плетнева к Жуковскому во дворец. Впрочем, я не вполне поверил его словам, потому что на его переезд достаточно было одного часа, и у меня осталось сомнение, что Гоголь колебался взять у меня деньги и, может быть, даже пробовал достать их у кого-нибудь другого. На другой день мы назначили ехать с ним в Патристический институт.

Должно упомянуть, что в это время вышли из печати вторые «Три повести» Павлова, что, сравнивая их с прежними, многие нападали на них, а Гоголь постоянно защищал, доказывая, что они имеют свое неотъемлемое достоинство: наблюдательный ум сочинителя и прекрасный язык, и что они нисколько не хуже первых.

³ Для уплаты этих денег я написал в Москву к должнику своему Великопольскому, который сейчас выслал мне две тысячи семьсот рублей, то есть весь долг.

Наконец, 17-го ездили мы с Верой и с Гоголем к его сестрам. Гоголь был нежный брат, он боялся, что сестры его произведут на нас невыгодное впечатление; он во всю дорогу приговаривал нас, рассказывая об их неловкости и застенчивости и неумении говорить. Мы нашли их точно такими, как ожидали, то есть совершенными монастырками. Вера старалась обласкать их как можно больше; они были уверены, что в следующий четверг, 23 ноября, едут вместе с нами в Москву. Гоголь просил нас обмануть их, кажется для того, чтобы заранее взять их из института, с которым они не хотели расстаться задолго до отъезда. Меньшая, Лиза, веселая и живая, была любимицей брата. Может быть, и сам Гоголь этого не знал, но мы заметили. Из института мы завезли Гоголя на его квартиру у Жуковского, который жил во дворце, потому что Гоголь, давши слово обедать с нами у Карташевских, сказал нам, что ему нужно чем-то дома распорядиться. Мы дожидались его с четверть часа и не вдруг заметили, что он бежал на квартиру для того, чтобы надеть фрак. Гоголь сказал нам, что на другой день он перевозит сестер своих к княгине Репниной (бывшей Балабиной), у которой они останутся до отъезда. Гоголю совестно было оставлять их там слишком долго, и потому Гоголь просил меня ускорить наш отъезд из Петербурга. Это приводило меня в большое затруднение, потому что судьба моего Миши не была устроена и отъезд мой мог быть отложен очень надолго. Я не вдруг решился сказать об этом Гоголю, потому что такое известие было бы для него ударом. Ему казалось невозможным ехать одному с сестрами, которые семь лет не выезжали из института, ничего не знали и всего боялись. Впоследствии мы испытали на деле, что опасения Гоголя были справедливы. Последующие дни Гоголь не так часто виделся с нами, потому что очень занимался своими сестрами: он сам покупал все нужное для их костюма, нередко терял записки нужных покупок, которые они ему давали, и покупал совсем не то, что было нужно; а между тем у него была маленькая претензия, что он во всем знает толк и умеет купить хорошо и дешево. Когда же Гоголь сидел у меня, то любимый его разговор был о том, как он весною увезет с собою Константина в Италию и как благотворно подействует на него эта классическая страна искусства. Я предупредил его, что мы не можем скоро ехать и чтоб он нас не дожидался. Гоголь с тяжелым вздохом признался мне, что без нас никак не может ехать и потому будет ждать нашего отъезда, как бы он поздно ни последовал. Очень жаловался на юродство институтского воспитания и говорил, что его сестры не умеют даже ходить по-человечески. Он хотел на днях привести их к нам, чтоб познакомить с сестрой Надиной и ее дочерью. Гоголь опять читал повести Павлова, опять многое хвалил и говорил, что они имеют свое неотъемлемое достоинство.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.